

СЧАСТЬЕ

Счастье, или Нет худа без добра

Диву даюсь, столь милостиво приветил Господь мою судьбу, хотя жил и в безбожии, и во грехах, как в шелках, сгорая в страстях дольного мира, не ведая о мире горнем. Оглядел я тихим душевным оком нажитую жизнь от таёжного и полевого, от речного и озёрного деревенского рассвета до старгородского заката и подивился: верно молвлено: не было бы счастья, да несчастье помогло. Ибо нет худа без добра...

Худо с добром

Счастье: родился я на Божий свет поздним и непутевым парнишкой (заскрёбышем, поздонушкой, отхончиком), да – ещё и шестипалым, с шестью пальцами на руках, потом чуть не помер младенцем от воспаления лёгких, едва отвадился, а посему ...и что сдуру кинулся в писательство... матушка жалела меня, как Иванушку дурачка; жалела сильнее, чем старших братьев, а сердобольные сёстры опекали, одевали и обували меня, студента прохладной жизни, потом нищего сочинителя, за что я вывел братьев и сестёр добрыми героями своих сочинений. Лишние пальцы отсушили и отсекли в младенчестве, но порой оживал и змеился февральской позёмкой язвительный слушок: «лукавый пометил...», ну да чихал я на суеверные слухи с высокой колокольни.

Счастье: рос я впроголодь ...не одыбали после войны... а посему ведаю цену хлеба на скобленной дожелта столешне и златогривой ниве и четверть века внушаю домочадцам беречь хлеб, как и прочее добро, нажитое горбом.

Счастье: жили мы в стуже и нуже, но бедность и породила жажду выбиться в люди и зажечь побогаче. Из деревенской грязи в паркетные князи. А посему смалу пришлось вкалывать, засучив

рукава, и хотя живу не до жиру, быть бы живу, но лишь в азартной, изнуряющей пахоте дремлют мои языческие пороки, расцветающие буйно-лиловым чертополохом в праздности. А ежели бы смалу и по сивую гриву ведал страх Божий перед грехом и пороком, вышел бы в крепкие деревенские мужики, что крестят лоб не по привычке, а по вере православной.

Счастье: от нужды матушка сплавляла меня малого в село Погромна к тётке Вале, где жили посытнее, и там я, несмышлёныш, набирался ума от столетнего деда Лазаря, почившего в Бозе на сто шестом году своего долгого века.

Счастье: родился я в многочадливой семье. Матушка моя Софья Лазаревна Андриевская – из староверов-семейских¹, отец Григорий Григорьевич Байбородин, забайкальский гуран², вырастили нас восьмерых. Пятерых старших матушка тянула одна пять голодных и голых военных лет. *Счастье*, что в многодетной бедной деревенской семье сызмала заставляли вкалывать от зари до зари: чистить коровьи стайки, носить воду с озера, поить коров, колоть дрова, копать картошку, удить рыбу, собирать брусницу, голубицу... чем и разожгли азарт к труду и тоску в праздности, что позволило, несмотря на вечную нужду и грошовый отхожий промысел, сочинить романы, повести, рассказы и очерки, в коих я восславил трудолюбивых родичей.

Счастье: в тоскливых, предутренних сумерках, до первых петухов, когда самый сладкий сон, мать будила меня, подростка и посылала на рыбалку – рыбой кормилась семья; и я брёл к постылому и стылому, туманному озеру, кляня своё горькое детство; но когда тепло и зорево алела водная гладь и рябь, когда оголодавший окунь клевал почти на голый крючок, душа моя по-чаячьи плескалась, купалась в счастливом мираже. Прожив детство и отрочество среди озёрных красот, мечтал я стать художником и капитаном дальнего плавания.

Счастье: отец мой, Григорий Григорьевич, гонял меня как сидорову козу. Если я забывал напоить корову, вычистить стайки, наколоть дров, если я разбрасывал топоры, ножовки и удочки, которые он содержал в красе и холе, отец сходил с ума и мог захлестнуть вожжами, коль подвернёшься под горячую руку. Это привадило меня к порядку.

Счастье: смалу и до зрелости не ведал я телевизора – душегубца, измышленного полуночным бесом на погибель душ человеческих. Зубрил стихи при керосиновой лампе, читал волшебные сказки... сызмала и по сивую бороду люблю бажовское «Серебряное копытце» и стихи Пушкина, навеянные поэту крестьянской няней Ариной Родионовной. Вижу сквозь сумрак лет: в тёплую, ласковую избу с воем скребётся пурга, и дивно при сказочно мерцающем, чарующем, желтоватом язычке пламени сказывать, метельно завывая:

¹ Старообрядкой была лишь по родовому кореню, по вере и молитве – в Русской Православной Церкви, чураясь семейских – староверов.

² Гуран – русский забайкалец, в близкой родне которого были тунгусы либо буряты, что выражалось в облике и повадках.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя.
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя...

Либо:

У Лукоморья дуб зелёный,
Златая цепь на дубе том,

И днём и ночью кот учёный,
Всё ходит по цепи кругом...

Если отец жалел керосин и светила ясная луна, читал стихи и сказки подле окна. Поминался вычитанный в книжке семилетний казачок, коему барин не позволял письму учиться. Лунными ночами казачок тихо-тихо, на цыпочках крался к морю и писал на сыром песке азы, буки, веди, потом – слова и строки, а волны смывали отроческие письма с песка, но не могли смыть из памяти. Кажется, казачок тот вырос в народного поэта.

Счастье: без телевизора не лупил я zenки на уродищ заморских – бесову нежить, что без передыху гробит народ, отчего из голубого демонского ящика красной рекой плещет кровь человечья, словно одичалая вешняя вода. Я же вечерами при тихом, уютном и ласковом свете керосинки слушал потехи и бывальщины про старопрежнюю жизнь, а и просто житейские случаи, что ведали отец и мужики. Подросши, и сам затейливо выплетал чудные побаски, лежа с приятелями на душистом сене и зачарованно глядя в сонно мерцающие, белые звёзды. За то меня привечали даже деревенские варнаки и лишний раз не обижали.

Счастье: рос и матерел я в глухой деревне – вокруг меня и во мне звучал мудрый и украсный народный говор, коим я насытил и перенасытил свои сочинения.

Счастье: уродился я деревней битый – сибирский катанок, но ведь русский дух – дух деревенский, коль Россия наша матушка изначально и до седины жила лесной и полевой деревней. А дух деревенский: любомудрие, природная затейливая речь, азартное трудолюбие, выносливость, терпеливость, настырность, совестливость и стеснительность, побратимство и любовь к малой родине, из коей зреет и любовь к России. И этот дух пособлял деревенским творить чудеса в любом ремесле. Недаром же Василий Макарович Шукшин, заспорил в «Чудике» с высокомерным городом: «Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в чёрной рамке, так смотришь – выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Што ни фигура, понимаешь, так выходец, рано пошёл работать...»

Счастье: мама моя, Софья Лазаревна, не ведала грамоты и расписывалась крестиком, почему и

оберегла в душе незамутненную книжной грамотностью, народную сердечную мудрость и жалость к ближнему. Позже мама хвалилась в семейных застольях: дескать, у меня все ребята вышли в люди, лишь один... Ваня-дурак – книжек начитался... – и она с любовью и скорбью глядела на меня. Поклон маме на ласковом слове, но до Ивана-дурака мне, грешному, словно до Божьих Небес, ибо сказочный русский дурак – предтеча христоролюбивых и человеколюбивых юродивых, коим за святость и пророчества возводили храмы на Руси, подле них и миряне спасали души для Вечной Любви.

Счастье: на рыбалке я потерял большой палец правой руки, и теперь не могу хвастливо загнуть его: мол, жизнь моя во!.. но и фигу не могу сладить и уж хоть тем не обижаю ближних.

Счастье: в юности и молодости я немало перехворал: то спину скрутит, то почка забарахлит, то неврит лицо перекосит и невралгия дикой болью и жаркой слезой глаз опалит, а то вовсе выкатится свет из ока, то иная холера привяжется, но благодаря хворям постиг я и очистительную силу страдания, хотя и понимал: ох, не по грехам моим милостив Бог. В буйный разгар юности на моих пятках выросли петушьи шпоры, в назидание ли, в наказание года три я ковылял, как ветхий старичишко. Надо было подаваться в бухгалтера либо писатели. А коль в арифметике я со школьной лавки дуб дубом, то на радость и маету оставалось писательство.

Счастье: после десятилетки я с треском провалил экзамены в Иркутский университет на исторический факультет. Хотя после выпускных вальсов, когда отгуляли у озера, залитого белым месяцем, любовно шепчущего причальной волной, два месяца загорал я на коровьей стайке, запойно читал Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Мама подавала мне на стайку парное молоко с круто посолённой краюхой ржаного хлеба, при этом скорбела: «Сдуришь ты, однако, парень, со своих книжек...» Мама бессознательно страшилась книжной грамотности и полагала, что книги смутят мой дух, во младенчестве ясный и Божий, исчеркают белый лист моей души греховодными и порочными, демонскими письменами. Так оно и вышло... Мама верила, что раньше жили просто, да лет по ста, а ныне пятьдесят, да и то на собачью статью. Моя безграмотная мама, как и всё старорусское крестьянство, обладала вселенским знанием от Бога, природы и народа, и так пословично и поговорочно тысячелетнее знание выражала, что её любомудрию и красноречию позавидовал бы талантливый русский поэт. Такой же Божий страх перед западным книжным просвещением для православного люда переживали и святые юроды Христа ради, и святые чудотворцы, и святые старцы, да насельники скитов и пустыней, а и по их пророческим глаголам и славянофилы XIX века – Гоголь, Достоевский, Хомяков, Аксаков, братья Киреевские; и дивился я: неужли моя мама, расписываясь кургузым крестиком, была не глупее грамотных славянофилов?! Невольно поверишь Достоевскому: благодаря крестьянке Арине Родионовне – словом, русскому простолюдию – Пушкин и стал великим, русским народным писателем, превзошёл словом и духом блестящих дворянских поэтов «золотого века», которые, увы, не были *русскими* (не стали и великими), ибо, словно иноземцы, не понимали родного русского народа – суть крестьянства, составлявшего девяносто процентов

народонаселения, и, будучи онемеченными и офранцузенными дворянами, выражали своё дворянское сословие, кое перед крестьянским, что капля в море. Хотя на закате дворянского века и рвались в народ.

Отлично сдал я три основных экзамена, но с треском завалил побочный – сочинение, потому что в слове *ещё* мог сделать четыре ошибки – *исчо*... И все же *мне повезло*: не поступив сразу после десятилетки, пошел вкалывать на завод, затем – в газету, нажил мало-мальскую судьбу, а без судьбы писательство – лукавое пустобайство.

Счастье: не поступив в учение, год протолкался на судостроительном заводе. Так и не выучился на фрезеровщика – страсть как боялся: вырвется деталь из тисков и прилетит в бестолковую мою голову, и окочуришься в рассвете сил. Страх перед фрезерным станком породил во мне философскую неприязнь к технической цивилизации и усилил любовь к вольным лесам и степям, о чём на разные лады толковал я в ранних сочинениях.

Счастье: через год меня, технически круглого дурака, выпихнули с завода, – я вернулся в родной Сосново-Озёрск, пошел батрачить в русско-бурятскую аймачную газету «Улан-Туя» («Красная заря») и уже о ту юную пору начал грешить писательством... А через год меня, восемнадцатилетнего деревенского паренька, негаданно взяли в республиканскую газету «Молодежь Бурятии», что смахивало на чудо, потому что журналисты с университетскими дипломами подолгу и беспрокло обивали редакционные пороги.

Счастье: на четвёртом курсе меня взащей вытурили из университета... отлынивал от глупых лекций, вольнодумничал... и я уехал с женой и дочкой на Северный Байкал, где строили Байкало-Амурскую магистраль. Мы, нищие студенты, голь перекатная, в одночасье угодили в сказочно сытую северную жизнь. Прибарахлились, откормились на бамовских харчах да байкальских омулях и вдосталь налюбовались на величавые байкальские красоты, а я испробовал азартную и добычливую омулевую рыбалку. А через год, вернувшись в Иркутск, пристроился в заочники и, будучи студентом, пробился в «Советскую молодежь» – газету, славную тем, что раньше там обитали именитые писатели – Вампилов и Распутин.

Счастье: в отличие от своих однокурсников, которые распределились в газеты, на радио и телевидение, я распределился в дворники. По нынешнюю седую бороду почитаю дворницкое ремесло самым благородным в мире: загаживать землю все мастера, а вот прибирают лишь дворники. Недаром поэт Воронов – нелепо погибший студент-журналист – красиво сочинил про нас, дворников:

...И трудно, и больно...

И белые дворники наши,

Кружатся, кружатся

И улицу нашу метут.

Метите, метите,

Пока вам метёлки отпущены,

Ни день и ни два поднимать на заре,
Пока что люди, вами разбуженные,
Не поймут, что рай наступил,
На весеннем дворе.

Счастье: много лет я дворничал ...у дворника уйма вольного времени – пиши, запишись... и я сочинил полон стол. Ежели в моей лесной избушке будет туго с дровами, можно рукописями печку топить.

Счастье: получил я дюжины три сердитых отказов из русских журналов (в русскоязычные я и носа не совал) и после всякого отказа злился, старался сочинять мудрёнее, ярче, и хотел доказать, что я, хоть и не московский хлыщ, а тоже не лыком шит. Ничего не доказал, и моя творческая жизнь прошла в сплошной переписке и перезвонке с издательствами и журналами; чтобы услышать *от ворот поворот*, надо и достучаться, а иначе – *поцелуй пробой и иди домой*. Столичные редакторы винили мою природную сельскую прозу в фольклоризме, этнографизме, словесном орнаментализме и сердобольно интересовались: нет ли у меня другой какой... заваливающей профессешки?.. Есть – дворник, и Бог весть, может, с метлой и завершу грешный век...

Счастье: не выбился я в именитые писатели и с нуждой не разминулся – при знаменитости и сытости, да при тугой мошне языческие пороки мои, обретя дикую степную волю, быстро бы спалили душу мою. А пока душа мается меж Божиим Светом и лукаво искусительной тьмой...

Добро без худа

Счастье: вырастил я двух дочерей, Алёну и Машу, – в малолетстве жили чадушки, яко ангелы, и тем приваживали меня к добру, отчего я доспел: не мы, взрослые, одрябшие душой, забородатевшие грехами, учим малых чад любви к Богу и ближнему, а они нас, пока живы наши души.

Счастье: сочинения мои читали, разбирали... бывало, поругивали, а бывало, и похваливали писатели, при упоминании коих у меня, зелёного и заполошного, от волнения подрагивали коленки.

Счастье: худо-бедно, издал я за писательский век пять книг художественной прозы, и грех плакаться на земную судьбу. Но вообразу свою душу, павшую ниц перед Богом, и тревога сосёт душу: а не *искус* ли грядущим читателям мое *искусство*?.. не от князя ли тьмы?.. ибо сочинял по мудрости не от Бога, но от человеков, от мира сего, вольно и неволью воспевая земное человеческое, редко

задумываясь о Царствии Небесном. Не добавила ли писанина моя греха многогрешной душе моей?.. И нет мне пока ответа.

Счастье: много ведал я ближних, что в полную душу любили меня и подсобляли жить; но жаль, мало кому я ответил безоглядной любовью, прости мя, Господи.

Январь 1996, январь 2006, февраль-ноябрь 2007, январь, май 2009, март 2010